

ОБЩИННЫЙ ВЕСТНИК

Библиотечка газеты

Дмитрий Цвибель

МОЙ ПАПА

ПЕТРОЗАВОДСК

Библиотечка газеты «Общинный вестник»

Дмитрий Цвибель

МОЙ ПАПА

ПЕТРОЗАВОДСК 2007

УДК 78
ББК 85.313 (2Рос.Кар)
Ц 28

Петрозаводская еврейская община
выражает благодарность

НАТАЛИИ ЦВИБЕЛЬ (США)

(NATALIA TSVIBEL)

за помощь в издании этой брошюры.

Цвибель, Дмитрий

Ц 28 Мой папа /Дмитрий Цвибель; Еврейская религиозная община. –
Петрозаводск: Принт, 2007, - 40 с. : ил. - (Библиотечка газеты
«Общинный вестник»; вып.13)

УДК 78
ББК 85.313 (2Рос.Кар)

ISBN

Мой папа

Советское время никак не располагало к откровенным разговорам. Даже в семье родители мало рассказывали детям о прошлой своей жизни. Так многие и ушли, не оставив свидетельств. А эпоха была полна событиями необычайно трагичными, оставила рубцы, которые еще не скоро заживут. Даже поколение, родившееся уже после этих катаклизмов, ощущает их влияние, и, может быть, только наши дети смогут освободиться от разрушительных последствий происходившего. Но для этого нужна память, память о том, что было, чтобы попытаться разобраться в причинах, породивших столь чудовищную эпоху.

Но кроме эпохальных событий существовала и обычная жизнь обычных людей. Они не выбирали себе эпоху и жили, работали, растили детей. У них были свои горести и радости, отчаяние и надежда... Я хочу рассказать о своем отце, прежде всего, для себя и для того, чтобы оставить свидетельство своим детям. Рассказать то, что сохранила моя память, что удалось восстановить по рассказам знавших его. Это не биография, скорее – это отдельные эпизоды, впечатления, общий образ, бесконечно дорогой для меня.

Родился папа в 1907 году в Бобруйске, уездном центре Минской губернии, присоединенном в 1793 году к России от Польши в качестве местечка. В начале XIX века здесь была построена крепость, в которой евреям было запрещено строить какие бы то ни было здания. По переписи 1897 года из общего числа жителей в 34336 человек 20760 были евреи. В то время Бобруйск был центром белорусского еврейства: там находились многочисленные ешивы, талмуд-тора, два мужских народных училища (в одном ремесленное отделение), два женских общеобразовательных и одно женское профессиональное, известное книгоиздательство Якова Гинзбурга. Бобруйск был и одним из центров Бунда. Наиболее распространенными занятиями евреев были изготовление одежды, земледелие, торговля продуктами сельского хозяйства. Папин отец был столяром. В детстве папа, имея хороший голос, пел в синагоге. В 1914 году община собрала деньги, и папа поступил в местную гимназию. Он очень гордился этим и учился охотно. Сколько он там проучился, не знаю. Помнил папа немцев, которые платили за постой.



Папина мама

Папины старшие сестры Блюма и Зельда, одна в 1910, другая в 1911 году уехали в Америку. Сначала их женихи поехали туда «на разведку» в трюмах каких-то, очевидно, грузовых пароходов, затем вернулись, поженились и увезли их в Нью-Йорк, поселившись в Бруклине и в Бронксе под фамилиями Горелик и Турецки. Папин старший брат Зяма в 16 лет ушел из дома, и как папа ни пытался его найти впоследствии, не смог.

Затем – Киев, до которого семья добиралась два года. Очевидно, уходили от непрерывных перемен власти в Бобруйске в период гражданской и советско-польских войн, сопровождавшихся грабежами и разбоем. Папины родители в Киеве попали в больницу и скончались с разницей в один день. У них в Киеве была какая-то родственница, но мама перед смертью сказала, чтобы папа устроился лучше в детский дом. Так папа в 15 лет оказался в детском доме. Папу звали Мардух-Гершл, но записали Гришей.

Воспоминания о детском доме у него сохранились самые благоприятные. Он рассказывал, как его с другом наказали за какой-то проступок – отлучили от коллектива, и

они питались не в общей столовой, а у себя в комнате, куда им еду приносили. Но через пару дней, когда поняли, что это доставляет им удовольствие, «наказание» было снято. Вообще, папа говорил, что отношение к детям было очень хорошим – ведь тогда считали, что именно из них, не обремененных памятью о прошлом, вырастет новый советский человек с новым сознанием.

Когда должно было начаться обучение какому-нибудь ремеслу, его спросили, кем он хочет стать. Папа не знал. Но у него обнаружился хороший музыкальный слух. Его повели в музыкальный техникум, чтобы показать инструменты. Как рассказывал папа, на сцену вышел какой-то скрипач маленького роста, подбородком прижал скрипочку к ключице, весь согнулся и так жалобно заиграл, что папа тут же сказал, что не хочет такой музыки. Затем ему показали пианиста – и он сразу же сказал, что вот это другое дело. Ему понравилось, что тот был хозяином своего инструмента, гордо сидел на стуле, тряся огромной шевелюрой, и играл что-то очень громкое, торжественное. Но возникла проблема – в детском доме не было инструмента. Поскольку в то время дети были действительно под опекой государства, все решилось очень просто, хотя и по-советски. Приехал грузовик с несколькими чекистами, посадили папу, и они выехали на Крещатик. Там папа с сопровождающим вышли и двинулись вдоль улицы. Они шли и слушали, откуда раздадутся звуки рояля. Услышав, поднялись по лестнице, вошли в квартиру. Там оказался пожилой человек, и посредине комнаты стоял рояль. Сопровождающий папу сказал хозяину, что инструмент реквизируется, показав какую-то бумагу (для убедительности на ремне у него висел револьвер), позвал хлопцев, и инструмент благополучно переехал в детский дом. Этот старичок, оказавшийся дирижером, часто приходил, давал уроки и просил аккуратно обращаться с инструментом – он все надеялся получить его обратно. Папа ему нравился, и он даже предлагал его усыновить.

В то время в Киев приехала группа из США, проводившая по своей системе исследования среди детей на выявление способностей и реакции мозга. Обследовали они детские дома. Вернувшись, написали отчет, который попал в газеты, там был упомянут и папа, обладавший какими-то уникальными способностями по их критериям. По этому отчету папины сестры узнали, где он находится, и послали человека в Киев, чтобы тот забрал его в Америку. В детском доме устроили общее собрание, на котором сказали, что нашего Гришу хотят увезти к капиталистам, эксплуататорам. «Не отдадим Гришу!» Папе человек этот не понравился – глазки маленькие, бегающие – и он отказался уезжать. Тот дал ему пять долларов, оставил адрес сестер, и его больше не видели. С сестрами папа переписывался почти до самой войны и даже получал фото и иногда пять долларов. Все это он уничтожил и прекратил переписку, когда «пришли» за соседом.

В 1924 году папа, как способный ученик, получил стипендию им. Ленина (об этом было написано в официальной газете Киева) и поступил в Музыкальный техникум. Там его соучениками были ставшие впоследствии знаменитыми музыкантами: дирижер Исая Шерман, первый исполнитель балета Прокофьева «Ромео и Джульетта» в Кировском театре и балета Синисало «Сампо» в нашем Музыкальном театре; пианист, профессор Ленинградской консерватории Натан Перельман. Когда потребовалось подтверждение папиного музыкального образования (диплом папа потерял во время войны), Шерман написал в наше министерство культуры письмо с подтверждением факта папиной учебы в Киеве.

Время учебы папа вспоминал с большим удовольствием. Жизнь в Киеве бурлила, выплескивалась через край. Ломалось старое, на смену приходило что-то другое, тогда еще никто не знал, во что это выльется. Иногда это принимало и уродливые формы. Например, папа вспоминал, что вышел букварь, где писалось все так, как говорилось в жизни, причем, в выражениях там не стеснялись – как в народе говорили, так и учили. Помнил демонстрацию совершенно голых молодых юношей и девушек, шедших по Крещатику с плакатами «Долой стыд», «Стыд – пережиток прошлого».

Однажды в цирке на арену вышли иллюзионисты. Они выкатили небольшой ящичек с отверстием на верхней крышке и предложили сложить туда все, что пожелает почтенная публика. «Почтенная публика» сначала робко, потом с большим энтузиазмом понесла пиджаки, кофточки, сумочки, зонты, шляпки, даже обувь. И все каким-то образом действительно укладывалось через это маленькое отверстие внутрь загадочного ящичка. Потом ящичек увезли, и конферансье объявил, что вещи можно будет получить после представления. После представления все ринулись к служебному входу, но, увы, ни ящичка, ни самих иллюзионистов там не было. Директор развел руками и объяснил, что эти артисты пришли к нему днем, показали номер и попросились выступить, и, если все пройдет удачно, согласны работать сезон. Видимо, им хватило одного выступления.

В другой раз был объявлен концерт Шаляпина. Когда толпы зрителей рванулись в кассы филармонии, билетов уже не было. Рядом ходили перекупщики и продавали билеты в три – четыре раза дороже. Все равно билеты разошлись. За день до назначенного концерта появилось объявление, что из-за болезни Шаляпина концерт не состоится, билеты можно вернуть в кассу. Но в кассе билеты принимали по их настоящей цене!..

Но не все было так. Папа, например, был на концертах Симона Барера, пианиста-виртуоза. Когда он играл Шестую рапсодию Листа, в зале вставали на стулья и залезали на сцену (пианист не возражал), чтобы убедиться, что это не обман, что он действительно сам играет, потому, что в таком темпе и так чисто играть «октавную» часть этой рапсодии просто невозможно! Слушал папа и Владимира Горовица. Уже тогда было ясно, что это великий музыкант. Был на концерте Айседоры Дункан, которая его потрясла. Уже немолодая женщина, одиноко стоявшая на сцене в какой-то хламиде, производила не очень приятное впечатление, но как только начинала звучать музыка, она преображалась, и начиналось действие, которое завораживало, гипнотизировало, оставаясь в памяти на всю жизнь.

Еще учась в техникуме, папа подрабатывал тапером – играл, сопровождая немые кинофильмы. И он хорошо запомнил фильм режиссера А. Анощенко «Трипольская трагедия» (1926), где речь идет о трагической гибели в 1919 году комсомольского отряда особого назначения во время гражданской войны на Украине. Окруженные бандой «зеленых», юные персонажи картины были взяты в плен, подвергнуты жесточайшим пыткам, а потом уничтожены самым зверским образом. Этот фильм основан на подлинных фактах гибели группы комсомольцев-добровольцев из Киева во главе с Ратманским и Фастовским, состоявшей в основном из выходцев с еврейского Подола. И главная героиня фильма – папина двоюродная сестра!



Ю.Кияченко. Трипольская трагедия.

Может быть поэтому, когда позже папа проходил военные сборы, и там надо было тренироваться наносить удары штыком по чучелу, он не мог делать этого. Над ним смеялись, пытались заставить, но он написал командиру большое письмо «высоким штилем», в котором просил заменить ему эти упражнения. Причем написал так, что на общем построении командир скомандовал:

– Цвигель, три шага вперед!

Только посмотрел на него, ничего не сказал, и папа был освобожден.

В папином военном билете, выданном в 1948 году, значится:
Окончил Музыкальный техникум в г. Киеве в 1928 году. Призван Киевским горвоенкоматом 25.6.1929 г. Признан годным к строевой службе и зачислен в запас 2 категории. В Советской армии не служил. Специальность: пианист. Беспартийный. В ВЛКСМ не состоит. Национальность: еврей. Родной язык: русский. Знание иностранных языков: немецкий. Рост: 165. Окружность головы: 57. Противогаз: 3. Размер обуви: 41.

(Кстати, про обувь. Когда надо было поменять обувь, папа заходил в магазин, говорил, что у него 45 размер, надевал новую, пробовал, чтобы не жала, расплачивался, оставлял старую и уходил. Как-то, когда они уже поженились, мама сама купила ему ботинки, принесла домой и попросила померить – может, подойдет? Правда, они 43 размера. Папа надел, прошелся – не жмет. Так и ходил. В следующий раз они зашли в магазин и стали выбирать. Приглянулась одна пара и, не посмотрев на размер, папа примерил. Хорошо. Обувь оказалась 41 размера. В конце концов, выяснилось, что у папы вообще 39 размер!)

Дальше в папиной биографии для меня сплошные пробелы.

Папа почему-то уехал в Автономную Советскую Социалистическую республику немцев Поволжья в театр концертмейстером (очевидно, в Немгостеатр, открывшийся в 1931 году). Редактировал там стенную газету на немецком языке. Знаю, что у него были большие способности к изучению языков, и он самостоятельно изучал их всю жизнь. Знал не менее пятнадцати, перевел на немецкий «Полтаву» Пушкина. Во время страшного голода (1932-33 года), когда были изъяты у населения все продукты, и от голода погибли свыше 50 тысяч человек, получал паек, поэтому и выжил. В ноябре 1934 года издается директива о «борьбе с фашистами и их пособниками» среди немецкого населения СССР. Директива дала толчок мощной одноименной репрессивной кампании против советских немцев, в том числе и в АССР НП. По всей видимости, к этому периоду (хотя, возможно, и ко времени войны) относится эпизод с обвинением папы в том, что он «немецкий шпион»! Доводы, о том, что он не может быть немецким шпионом, будучи евреем, не убедили, и тогда папа сказал, что его сестра – герой комсомола. Как ни странно, никто этого проверять не стал, но его отпустили.

Каким-то образом папа поступил в Москве в институт (что за институт, я не знаю). Но, поскольку преподаватели литературы и языка были слабыми, и упор делался на идеологию, когда сказали, что тех, кто поедет в колхоз помогать убирать урожай, без экзаменов переведут на следующий курс, папа ушел. Нанимался на работу в театр к Соломону Михоэлсу. Но что-то ему не понравилось в разговоре с Михоэлсом, и он отказался.

Затем – папа уже в Архангельске, в филармоническом симфоническом оркестре.



1941

Наш Музыкальный театр гастролировал в Архангельске. В один из дней мне сказали оркестранты, что к ним на спектакле в антракте подошел пожилой человек и спросил, указывая на программку, приехал ли на гастроли Цвибель. Они ответили утвердительно, и он попросил, чтобы я подошел на следующий день на спектакль для встречи.

В антракте мы встретились у оркестровой ямы. Он внимательно посмотрел на меня и спросил:

- Ты сын Гриши?
- Да.
- Так Гриша женился?
- Выходит, да. И даже уже умер.
- Жаль.
- Жаль, что женился, или...
- А ты остряк в него.

Мы разговорились. Оказывается, они вместе работали в Архангельской филармонии до войны, даже жили некоторое время в одной комнате. Гриша был «не от мира сего» – всегда с книгой в руках, даже дорогу переходил, читая. Как его не задавили, для всех оставалось загадкой. Никого не замечал вокруг, был погружен в свои мысли. Деньги, полученные за работу, клал в саквояж, который стоял в углу, не считая. Многие брали у него в долг, но немногие отдавали. Его все любили, но он на девушек не смотрел. И вот однажды вдруг увидел девушку в библиотеке, даже не девушку, а книги, которые она взяла, на девушку он обратил внимание уже потом, и сразу же влюбился, а у нее был кавалер... Дальнейшую историю он не знает – началась война, и всех раскидало кого куда. Девушка училась в Музыкальном училище на скрипке, звали ее Тамара.

- Это твоя мать?
- Да. И еще есть два брата.

Дальнейшую историю я узнал уже от мамы через много-много лет, когда она приехала из Иерусалима, где живет с сыном Валерой и внуками, в Петрозаводск погостить.



Мама, 1939

С началом войны была объявлена мобилизация, и папа, получив повестку, направился к месту формирования части, отправляющейся на фронт. Но его «перехватил» администратор из филармонии Розанов: «Ты что, с ума сошел? Куда тебе воевать? Давай документы!» Он забрал документы, побежал в военкомат и сказал, что по приказу (он назвал какую-то несуществующую организацию) формируется концертная бригада для обслуживания фронтов. Розанов был достаточно известным человеком, и в военкомате не стали разбираться – дел было невпроворот – и убрали папины документы из картотеки. Так Розанов освободил еще несколько человек, и они создали военно-полевую бригаду, которая

обслуживала фронт, давала концерты для солдат, отбывающих на передовую, работала в тылу. В этой бригаде оказалась и мама, игравшая на скрипке.

Однажды они ехали с концерта на открытом грузовике, их предупредили, что начинается наступление, и надо поскорее убираться. Шофер проскочил какой-то пост, даже не заметив его, и постовой выстрелил вдогонку. Пуля попала дирижеру Льву Косинскому в пряжку ремня и срикошетила, ранив сидящего на другой скамье виолончелиста Гельфмана. Тот сначала даже не очень почувствовал это. Лишь потом сказал, что он, кажется, ранен. Когда добрались до поселка, где был медпункт, он еще пытался сам слезть с грузовика, но санитары положили его на носилки и понесли. Последние слова, которые сказал Гельфман, были: «Подождите, сейчас я вернусь, это быстро». Но пуля свое дело сделала – был задет какой-то важный орган, и когда ее извлекли, Гельфман умер. Его тут же и похоронили – у двух березок. Лев Косинский хранил эту пулю всю жизнь.

4 декабря 1941 года в Архангельске мама родила сына Володю.

Потом был Республиканский театр музыкальной комедии КФСР, организованный в 1940 году и базировавшийся первоначально в Медвежьегорске. За время существования театра (1940-1948) в нем работали такие известные в театральном мире деятели, как Н.Рубан, О.Калинина, А.Феона, Л.Косинский, А.Голланд, Г.Синисало, Е.Ривьери, Л.Теплицкий, К.Милютин-Савич, Л.Вишкарев, А.Мелков, Х.Мальми и другие. Был сыгран огромный репертуар – практически весь «джентльменский набор» любого театра оперетты: «Сильва», «Марица», «Роз-Мари», «Холопка», «Корневильские колокола», «Свадьба в Малиновке», «Веселая вдова», «Баядера», «Перикола» и пр. Поскольку театр не имел своего постоянного помещения, и его работа пришлась на военное время, театр постоянно гастролировал: Петрозаводск, Беломорск, Мурманск, Вологда, Медвежьегорск, Беломорск, Кондопога, Кемь, Кандалакша, Архангельск, Тула, Сортавала, Уральск, Ярославль, Рыбинск... Плюс огромная концертная деятельность, в том числе и на передовой. В этом театре всю войну и проработал папа (мама все это время была с ним).

Когда и как папа попал в театр, не знаю – есть два свидетельства, противоречащие друг другу: согласно трудовой книжке и согласно свидетельству Николая Рубана, зафиксированному в его книжке «Всю войну на колесах».

В трудовой книжке, заведенной 7 января 1942 года с пометкой «Дубликат», значится: «Зачислен в КФ театр концертмейстером-пианистом с окладом 700 руб. с 7/VI-42 г. ...Общий стаж до поступления в КФ театр 15 лет. Документально не подтверждено». (Либо папа потерял предыдущую книжку, либо, что более вероятно, он ее уничтожил, поскольку там должна была стоять запись о его работе в немецком театре. В той обстановке это могло иметь самые, мягко говоря, нежелательные последствия.) Это сходится и с маминими воспоминаниями о первых днях войны и первых выступлениях с концертной бригадой в Архангельской области.

А в книжке Николая Рубана говорится о первых гастрольях театра в Выборге, начавшихся 19 июня 1941 года спектаклем «Холопка». В воскресенье 22 июня театр еще сыграл в полупустом зале оперетту «Роз-Мари». И далее: «Сразу же были сформированы концертные бригады... и уже 23 июня в большом переполненном мобилизованными кинотеатре «Кинолинна», где помещался призывной пункт, артисты театра дали свой первый шефский концерт для будущих воинов нашей Армии...» «26 июня Финляндия вступила в войну на стороне Гитлера. По путевке Дома Красной Армии две наши концертные бригады были направлены в воинские части, занимавшие оборону на Выборгском направлении, пока еще относительно спокойном... Уже 26 июня наша первая концертная бригада в составе артистов О.И.Сорокиной, А.И.Орехова, Э.Н.Лер, Р.О.Чарпо, Е.Г.Рубин, В.И.Орлова и балерины Зои Орловой под аккомпанемент баяна, на котором играл Г.И.Цвибель, обслуживала наши гарнизоны на границе, дав несколько концертов». (Когда на площадке не было фортепиано, папе приходилось играть на баяне, хотя он этому не учился.)

Все же мамино свидетельство, очевидно, достоверно. Рубан мог ошибиться, назвав папу в составе первой концертной бригады.

Несомненно, прифронтовые театры, фронтовые концертные бригады внесли ощутимый вклад в общее дело победы. Солдатам просто необходима была разрядка после всех ужасов, выпавших на их долю. Необходима, чтобы осознать, хотя бы на тот краткий момент спектакля или концерта, что война – ненормальное состояние человека, вспомнить о простых человеческих чувствах. Когда я в 1980 году попал в больницу, мой сосед по палате рассказал, какое впечатление на него оказал спектакль нашего театра «Сильва», который он видел в 1943 году в Рыбинске. Как он сказал: «После этого захотелось жить! Прошло уже столько времени, а я помню даже фамилию актрисы, игравшей Сильву – Ольга Калинина». Каково же было его удивление, когда я сказал, что Ольга Павловна до сих пор работает в нашем Музыкальном училище. Он пообещал, когда выйдет из больницы, подойти к ней и сказать «спасибо».

С Ольгой Павловной я работал в Доме культуры Онежского тракторного завода. Она вела там вокальный кружок, я был концертмейстером. Она много рассказывала про театр, военное время, концерты на передовой. Концерты, как правило, строились по заведенному трафарету: сначала песни о Сталине, о Родине, потом угрозы врагу, а уж потом начинался сам концерт. (Прямо, как в анекдоте: «Маша, концерт уже начался?» «Нет, еще пианист играет».) Так вот, частенько, особенно когда приезжали на передовую, подходил политрук и говорил: «Вы начало можете пропустить, давайте прямо со второй части». Понятно, их, которые ежеминутно рискуют жизнью, учить патриотизму...

После концерта, обычно, артистов кормили. И тут, чтобы подзадорить командира и получше покушать, кто-нибудь из молодых актрис, как бы невзначай, бросала фразу: «Вот мы были вчера на такой-то заставе, так нас там так угостили!..» После таких слов, чтобы поддержать «честь мундира», командир делал все возможное, «чтобы было не хуже».

Мне рассказали, что через много лет после окончания войны, когда уже можно было выезжать за границу, Хельми Мальми, танцовщица и балетмейстер была на одной из встреч бывших фронтовиков в Финляндии, где рассказывала о своей жизни, работе в театре, фронтовых концертах. После встречи к ней подошел пожилой мужчина и сказал:

– Я Вас узнал. Я тогда был «кукушкой», видел ваш концерт, и Вы были у меня на прицеле. Но уж больно хорошо Вы танцевали, и я пожалел. (Волшебная сила искусства!)



1946

Поскольку после войны в Петрозаводске не нашлось подходящего помещения для работы, театр обосновался в Сортавале, где я и родился.

В декабре 1946 года театр выехал на длительные гастроли в Ярославль, а наша семья переехала в Петрозаводск, где папа стал работать концертмейстером в филармонии, затем

заведующим музыкальной частью Республиканского театра Русской драмы и, наконец, в Музыкальном училище.

10 марта 1948 года Музыкальный театр расформировали.

За работу в годы войны папа был награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»

Рядом с домом, где мы жили, строился большой (как мне тогда в 1948 -50 гг. казалось) каменный дом (это угловой дом на перекрестке улиц Луначарского и Невского (тогда – Урицкого), где сейчас располагается аптека № 4). Строили его пленные немцы. Стройка была обнесена колючей проволокой, по углам стояли караульные вышки. Каким-то образом папа познакомился с немецким офицером, работавшим там, и они частенько беседовали через колючую проволоку. Папа в совершенстве знал немецкий язык, немецкую философию, естественно, музыку, и у них находились темы для разговоров. Иногда папа даже передавал ему что-нибудь из еды, хотя сам был не всегда сыт. Вечером немцев в сопровождении служебных собак уводили мимо нашего дома куда-то в сторону пивзавода. Это может показаться странным – немец и еврей спокойно беседуют после того, что совсем недавно произошло, но папа никогда не винил *немецкий народ* в Холокосте. Папа разделял народ и идеологию, которую ему навязывали или политические мотивы, как внутренние, так и внешние (за примерами ходить далеко не надо: антисемитские компании в СССР 48 – 53гг., шестидесятых, затем в России девяностых годов, современный антисемитизм, принимающий международный характер... Но эта тема неисчерпаема). Для папы это был человек, попавший за колючую проволоку за преступления других.

Для меня так и остается загадкой фраза, сказанная однажды папой, которая меня потрясла своей неожиданностью. К этой теме папа никогда не возвращался и ничего даже похожего не говорил. Он произнес тихо и очень спокойно, без эмоций: «Я хотел бы, чтобы, когда будут вешать последнего на земле коммуниста, повесили его над моей могилой».

Я часто вспоминаю эту фразу, такую несвойственную папе, даже, можно сказать, кощунственную в его устах, пытаюсь понять, что заставило папу произнести ее. За всю свою жизнь папа, как говорится, «мухи не обидел», всегда смотрел на жизнь как бы даже со стороны, с некоторого расстояния, как казалось, с долей легкой иронии. Когда в тридцатые годы его спросили, как он относится к советской власти, за него ответил его товарищ: «Да он ее просто не замечает», и все посмеялись (странно, что все обошлось – могло кончиться для всех весьма плачевно). Что же было в действительности у него на душе? Какую надо было вести внутреннюю борьбу, сколько надо было держать в себе, чтобы однажды сказать такое своему сыну?

Я долго сомневался, стоит ли писать об этом? Но мне тоже тяжело держать такое внутри. Может быть, кто-нибудь сможет объяснить мне?..

Своих книг дома у нас не было – мы брали их в библиотеке. Папа читал, в основном, немецкие. Где он их доставал, я не знаю – ему, очевидно, дарили за ненадобностью. Читал он своеобразно: прочитывая страницу, вырывал ее и – в печку на растопку! Говорил, что так удобно – не надо искать, где остановился, всегда открываешь на первой странице. Причем читал он везде, даже в очередях, когда к очередному советскому празднику, что-нибудь «давали»: маргарин, муку, сахар, масло или колбасу. Так и двигался к прилавку, не отрываясь от книги. Его все знали, и относились к этому спокойно. А поскольку существовали «нормы товаров, отпускаемых в одни руки», стояли семьями, очереди были длинными и в магазин не помещались, «давали» все это во дворе, и очередь змейкой огибала двор магазина, да еще не один раз, так что за это время можно было получить не одно

высшее образование. Хотя для меня остается загадкой – как, работая на шести работах, папа находил время еще и стоять в очередях? (Вообще сейчас трудно объяснить гамму чувств, которые охватывали человека, когда прибежала соседка и кричала: «Тамара, на Зареке маргарин дают!» или: «У водников колбасу выбросили!» «Посмотри, какие я туфли отхватила!» Те, кто этого не пережил, не поймут. Мне очень любопытно, как это перевести на другой язык, если уже и по-русски непонятно?) На работе на пюпитре рядом с нотами у папы всегда стояла книга, и пока педагог в музыкальном училище или балетмейстер в театре объясняли, что они хотят от студента или артиста, папа успевал прочитать несколько фраз, и во время игры обдумывал прочитанное. Инструментом он владел в совершенстве, а читка с листа у него была просто феноменальной. То, что другим концертмейстерам необходимо было учить или, по крайней мере, заранее знакомиться с текстом, он играл без труда, да еще мог при этом разговаривать! Студенты частенько специально приносили из библиотеки какие-нибудь неизвестные трудноисполнимые клавиры и просили сыграть, предвкушая удовольствие. Папа не отказывался – он любил молодежь и с готовностью делился своими знаниями и умением.

Владимир Хинчук, преподававший в музыкальном училище музлитературу и еще работавший настройщиком, всегда носил с собой чемоданчик с инструментами для работы. Но там же были аккуратно уложены, на всякий случай, смена белья и сухой паек на несколько дней – борьба с «безродными космополитами», «морганистами-вейсманистами», «врачами-убийцами» была еще жива в памяти. Кстати, однажды преподаватели училища собрали деньги и купили брюки одному студенту, который очень бедствовал. Так на одном из собраний он встал и поблагодарил... товарища Сталина за такое внимание к обыкновенному советскому студенту!!!

Когда у нас появилось пианино, папа пригласил Хинчука настроить его.

– Деньги я тебе отдам при коммунизме, – пообещал папа.

– Так при коммунизме денег-то не будет!

– Ну, вот видишь как хорошо. А у меня их уже нет, значит *на меня* он, этот коммунизм, уже наступил.

Однажды мы идем с папой по улице. Навстречу нам, сгорбившись, очень медленно двигается артист Драматического театра Геннадий Куксов. Он жил один, жена умерла, с дочерью отношения не складывались, на работе тоже никакого просвета: играл он второстепенные, а то и третьестепенные роли. Я его запомнил в каком-то детском спектакле в роли «кактуса», стоящим на третьем плане, без слов. Поравнявшись с нами, говорит:

– Гриша, я, наверное, скоро умру.

– Ты умрешь, когда поумнееешь. А не поумнееешь ты никогда.

И, оставив его в некотором недоумении, мы пошли дальше.

Прошло много времени, папа умер. Куксову исполнялась какая-то круглая дата, и Дом актера пригласил его, чтобы поздравить. Пришли всего несколько человек. Куксов уже никого не узнавал, сидел отрешенно. Но когда подошел я с поздравлением, глаза его просветлели:

– А... Вот тебя я помню: ты – сын Гриши Цвибеля. Он сказал, что я умру тогда, когда поумнею. Видимо, я еще не поумнел.

Спустя некоторое время, он, все же, «поумнел».

Жили мы в деревянном двухэтажном доме, одном из двух «театральных» домов по улице Луначарского (они существуют и поныне). Вода – на колонке через два дома, печное отопление, туалет – с выгребной ямой, поэтому мух у нас было предостаточно. Мы делали «мухобойки» – палка с прибитой к ней старой подошвой от ботинка. Как-то я гоняюсь за мухой с этой самой «мухобойкой», приходит папа и говорит:

– Да не так. Смотри.

Подходит к окну, открывает форточку:

– Муха, улетай!

И муха улетела!

На меня это произвело неизгладимое впечатление. Я теперь сидел в центре комнаты и приглашал мух улетать, даже говорил волшебное слово «пожалуйста», но они меня не очень слушались, скорее, их становилось даже больше.

Через год после смерти папы я на кладбище обустроиваю папину могилу. Делаю планировку, сажаю траву, розы, посадил березку (сейчас она выросла высотой с пятиэтажный дом, причем, березка «тройная»: из одного корня – три ствола, как трое сыновей). Подготавливаю место для установки постоянного надгробия. Пока стоит временный столбик, на котором прибита фотография.

Мимо идет средних лет мужчина, останавливается, просит закурить. Я говорю, что не курю, он подходит и спрашивает, кто здесь у меня похоронен. Я отвечаю, что отец. Он сочувствует, рассказывает о своих, похороненных на этом кладбище, и случайно его взгляд останавливается на фотографии.

– Да это же Григорий Ильич! Извини, я не знал, что он умер. Он работал в детском садике у моей дочери музыкальным руководителем, играл им всякие песенки. Ох, какой человек! Жалко. Дочь уже выросла, учится в университете, но мы его хорошо помним. Давай помогу тебе.

Дальше мы работаем уже вдвоем.

Папа никогда не болел – он не мог позволить себе такой роскоши, и больше всего боялся попасть в больницу (может быть – воспоминания детства, когда в больнице умерли его родители?). Но он боялся еще и из-за того, что единственный из семьи работал: я учился в седьмом классе, старший брат Володя – в десятом, младший Валера – во втором. По больничному листу платили только за одну основную работу, так что можно себе представить в какое положение попала бы семья. И работал он на шести работах: в Музыкальном училище, Музыкальном театре, в Доме культуры ОТЗ, кинотеатре «Сампо» (там перед тремя вечерними сеансами играл небольшой оркестр), в двух детских садиках. Но, все же, папа попал в больницу. Этому предшествовали драматические события.



Наша семья, 1956

Неожиданно к нам во двор въехала легковая машина, и папу увезли в КГБ. Ночь он провел там. Что ему инкриминировали, я не знаю, очевидно, общительный характер, анекдоты, слишком широкую эрудицию для советского человека, да еще, может быть, знание многих иностранных языков. Он много общался с молодежью, которая его обожала за веселый нрав и крайнюю доброжелательность. Кроме того, он помогал сдавать «тысячи» – переводил иностранные тексты студентам, в основном газетные, причем с любого языка. И, хотя газеты продавались только коммунистические, все же там кое-что освещалось не совсем так, как в СССР. И папа с «листа» сразу читал перевод какой-нибудь английской газеты, а пока студент записывал, другому переводил французскую, немецкую или итальянскую. Да много ли надо для КГБ: был бы человек, а «дело» найдется. Как потом стало известно, «оттуда» позвонили в Музыкальный театр директору, и Сергей Петрович Звездин сказал, что Цвибель ему нужен, он незаменимый работник (тогда начиналась работа над балетом «Сампо») и вообще, он, как директор, за него ручается. Этим папа был спасен, и его отпустили. Но тот шок, который папа перенес (он понимал, что если его «заберут», семье просто не на что будет существовать), многолетняя изнурительная работа сделали свое – папа заболел. Сначала он продолжал ходить на работу и на ногах перенес воспаление легких, которое закончилось тяжелым плевритом. Он слег. Чтобы не лишать оркестрантов, играющих в кинотеатре, работы (пианистов в городе тогда было очень мало), папа показал мне репертуар оркестра, и я его заменил. Играть я мог, естественно, только то, что успел выучить с папой. Картина была для того времени более чем неординарная: на сцене среди маститых известных в городе музыкантов за пианино сидел тринадцатилетний ребенок в гольфиках и сосредоточенно, глядя в ноты, барабанил по клавишам. И это перед вечерними сеансами, куда детей до 16 лет не допускали! Так продолжалось дней семь-восемь. Поскольку мне приходилось уходить с последних двух уроков в школе (я учился тогда во вторую смену), это стало известно «кому надо». Разразился скандал. Однажды я прихожу на работу в кинотеатр, а меня не пускают. Вышел руководитель оркестра и директор кинотеатра и сказали, что пришла бумага из ГОРОНО с приказом «прекратить это безобразие». Тогда меня чуть не выгнали из школы, а музыканты неделю сидели без работы, пока не нашли мне замену.

Папе становилось все хуже, и его увезли в больницу. Тогда она размещалась на улице Военной в деревянном двухэтажном здании. Его лечащим врачом был легендарный Наум Давыдович Цаль. Положение папы было критическим, болезнь была запущенной. Несколько дней жизнь папы была в опасности. Но когда кризис миновал, папа, который панически боялся уколов, попросил отменить их. Как потом рассказал Наум Давыдович, когда он посмотрел в папины глаза, то понял, что лучше согласиться. Папа откуда-то взял, что можно вылечиться... яблоками! Почему именно яблоками, совершенно непонятно. Но он был убежден в этом, и сообщил Науму Давыдовичу. И Наум Давыдович согласился и с этим!!! Уколы отменили, и папа ел яблоки килограммами. Их приносили все, посещавшие его. Через месяц папу выписали из больницы.

Тут я должен рассказать об одном эпизоде, который я сохранию с благодарностью в памяти до конца своих дней.

Когда папу увезли в больницу, мы остались, практически, без средств к существованию. Денежных накоплений, естественно, не было – жили от зарплаты до зарплаты. А теперь вообще папе полагались деньги по больничному только с места основной работы – из Музыкального училища.

И вот однажды, когда я был один дома, в дверь постучались, и вошла молодая женщина. Она протянула мне конверт и сказала, что это от артистов балета Григорию Ильичу. Там были деньги. Мама, придя домой, узнав об этом, расплакалась. Для нас это было спасением! Только позже я смог в полной мере осознать значимость этого поступка. Артисты балета, сами нищие, получавшие совершенные гроши – и это при их-то нагрузках – протянули руку помощи своему концертмейстеру. Для папы это был, прежде всего, акт моральной поддержки, во многом помогший ему справиться с болезнью (впервые я

рассказал про этот случай артистам, когда с благодарностью прощался с театром после сорокалетней работы).

Когда папу выписывали из больницы, и он зашел, уже одетый, с шапкой в руках в палату попрощаться, сосед по палате вдруг закричал:

– Да я Вас знаю! Вы играете в оркестре перед вечерними сеансами в кинотеатре «Сампо». Мы по Вам часы сверяем!

Папа очень удивился.

– Да, да. Вы ежедневно проходите мимо нашего дома в одно и то же время вверх по улице Урицкого, и ваша голова приходится как раз на уровне нашего окна. Я узнал Вас по шапке!



В балетном зале

Летом 1964 года в Ленинграде проходила выставка «Средства связи США», и я, оказавшись там проездом, пошел на нее. Отстояв в очереди более двух часов, наконец, попал внутрь, получив значок и красивый проспект. Выставка разместилась в помещении театра «Ленинского комсомола», и экспонировались там достижения в области связи. Выставка для нас была прямо, как из другого мира: на стенах висели огромные плоские цветные телевизоры, и через небольшие телекамеры можно было увидеть себя на экране; демонстрировались лазеры и всевозможные сферы их применения, что само по себе вызывало удивление, да еще стояла установка, воспроизводящая музыку, причем проводником служил лазерный луч, и можно было, подставив ладонь, перекрыть его, и музыка прекращалась. Специальный стенд был назван «Микроминиатюризация», мимо которого я проходил несколько раз и не замечал, а когда присмотрелся, то был поражен – там было все настолько маленьким, что даже стояли увеличительные стекла. Это были первые микросхемы на кремниевой стружке, способные заменить целые блоки лампового приемника (я был радиолюбителем, собирал приемники, и не мог себе представить такое) – то, из чего потом делались микрокалькуляторы и компьютеры. Но основное внимание мое привлекли три телефонные будки, стоящие посередине зала и полки с телефонными книгами номеров всех США! Причем, телефонные книги Нью-Йорка и других крупных городов были даже по районам. Можно было найти интересующий тебя номер и позвонить бесплатно прямо с выставки. Я вспомнил, что в Бруклине и Бронксе живут мои тетки (папины сестры) и взял в руки справочник Бруклина, большого формата и очень толстый, хотя и отпечатанный на тонкой бумаге, чтобы найти их фамилии. И тут произошло необъяснимое: я забыл фамилии своих родственников. Я листал справочник Бруклина, потом Бронкса, ставил на место, опять листал... Все напрасно! Я ходил по выставке более двух часов, пытаюсь вспомнить. Хотя и понимал, что с такими фамилиями, как у них, в Нью-Йорке живет не одна сотня людей, но хотелось наудачу позвонить – вдруг попаду куда-нибудь и, хотя бы, «подам голос». Я так и не смог вспомнить, а время шло – мне надо было ехать в аэропорт. Отложив в последний раз справочник Бронкса, я вышел из здания и, пройдя несколько шагов, остановился: Горелик, Турецки!!! Чего же проще? Но вернуться я уже не мог – надо было отстоять два часа в очереди, а времени на это не было.

Так случилось, что мы очень редко разговаривали с папой наедине: как всегда на самых близких людей не хватает времени. Однажды он пришел ко мне в общежитие театра, где я жил. Разговор зашел о Шостаковиче. Я знал, что папа не любил Шостаковича. Когда он впервые сыграл его Первую симфонию (там в оркестровке большая фортепианная партия), ему показалось, что музыка кончилась. У папы вызывали неприязнь и выступления Шостаковича в печати и по радио – блеклые и очень уж казенные (понятно, что он мог тогда говорить), а вступление в партию в 1960 году воспринимались папой, как капитуляция перед властью (только когда много позже за рубежом была опубликована книга Соломона Волкова «Свидетельство. Мемуары Дмитрия Шостаковича», многое стало понятным).

Я пытался защищать Шостаковича, говоря, что все, что он не может высказать словами, говорит своей музыкой, пишет летопись своего страшного времени – недаром партия так пристально следит за его творчеством и не раз «била» его очень сильно.

– Ну, давай послушаем.

Я поставил 14 симфонию (это необычное произведение написано на тексты Ф. Гарсия Лорки, Г. Аполлинера, В. Кюхельбекера, Р. Рильке; сам Шостакович после ее написания признал эту симфонию самым лучшим из всего, что он создал). Папа внимательно прослушал ее, не останавливая. Помолчали. Потом поговорили о разных вещах, но, уходя, папа попросил еще раз поставить две последние части симфонии. Там такие слова:

О, Дельвиг, Дельвиг!
Что награда
И дел высоких и стихов?
Таланту что и где награда
Среди злодеев и глупцов?

(В. Кюхельбекер)

И последняя часть "Смерть поэта" на стихи Рильке:

Поэт был мертв.
Лицо его, храня все ту же бледность,
Что-то отвергало...

На папу симфония произвела большое впечатление. Он сказал, что это настоящая музыка, искренняя и очень сильная.

Эта наша встреча оказалась последней.

Еще раз я увиделся с папой в балетном зале театра. Это было около 11 часов 9 сентября 1972 года, в первый день работы после отпуска. Начинался новый сезон. Поскольку мне должны были за гастроли еще пару дней «отгулов», урок играл папа, а я пошел в Союз композиторов знакомиться с клавиром новой версии балета Эдуарда Патлаенко «Гайавата» для записи его на пленку (первый вариант мы показывали в Министерстве культуры РСФСР в 1968 году – это особая история). Закрыв за собой дверь, прислушался: ровный, чистый звук фортепиано – папа в отличной форме.

Вернувшись домой (жил у вокзала в общежитии), застал соседку родителей, которая только что приехала, взволнованная, сказать, что папе плохо. (Небольшая деталь: Эмма Хиппелайнен, артистка Финского театра и наша соседка, позвонила в Музыкальный театр, в котором папа работал с момента его основания, и попросила машину, чтобы съездить за мной, так как телефона у меня, естественно, не было, объяснив, что случилось. Мне стыдно до сих пор за то, что ей ответили!) По дороге к родителям в троллейбусе мне стало плохо – очевидно, где-то на подсознательном уровне понял, что случилось что-то непоправимое. Но я не мог предположить, что случилось на самом деле. Ведь с папой всего три часа назад я разговаривал, он ни на что не жаловался ... Когда открыл дверь квартиры, услышал звук,

который у меня до сих пор в ушах. Это не плачь, не крик, даже не вой – это все вместе. В одной комнате на полу билась мама, в другой на полу лежал папа. Рубашка на груди была распорота, в районе сердца видна была небольшая дырочка – врачи со скорой помощи пытались реанимировать, сделав укол прямо в сердце, но это не помогло. Они уехали, даже не положив папу на кровать.

Соседи уже позвонили в воинскую часть, где служил мой брат Валерий и в школу, где работал старший брат Володя – он был с учениками в каком-то колхозе «на картошке». Валерик очень скоро прибежал – спасибо командиру части, который отпустил его даже без увольнения. Увольнение на десять суток принес солдат через полчаса.

Валерик сказал, что он предчувствовал это. Каждый день звонил домой, разговаривал с папой, и что-то в голосе папы и самих разговорах угадывалось.

Папу увезли в судмедэкспертизу. В справке о смерти значилось: «общий атеросклероз». Окажись дома хотя бы валидол, может быть, удалось бы спасти. Но так, видимо, было суждено.

Я не знал, что делать. Вспомнил, что в последнее время папа сблизился с Владимиром Яковлевичем Беленьким. Нашел его адрес по телефонной книге и пошел к нему. Жил он напротив университета. Долго звонил в дверь. Мне не хотели открывать, хотя присутствие кого-то в доме ощущалось. Потом осторожно приоткрылась дверь, и я увидел необычную для себя картину: пожилой человек с какой-то черной коробочкой на лбу, с ремешками вокруг одной руки, закутанный в белое с полосками покрывало с кистями на концах, с раскрытой книгой в руке настороженно смотрел на меня.

– Я сын Григория Цвибеля. Папа вчера умер!

Он молча пропустил меня в квартиру, аккуратно закрыл дверь, даже на цепочку и спокойно сказал: «Гриша умер? Ну, и хорошо. Он умер в большой праздник – в Новый год и в Субботу одновременно. Это случается не часто. В такой день умирают только праведники. Твой отец – цадик!» (Еврейский календарь имеет девятнадцатилетний цикл, и Новый год, который впервые после советской власти евреи Петрозаводска праздновали открыто, и в подготовке которого я принимал самое непосредственное участие, пришелся именно на 9 сентября 1991 года через 19 лет! Случайность?..) Но тогда я ничего не понял из сказанного (какой Новый год в сентябре?), но меня «отпустило», как будто спала вся тяжесть, и даже стало хорошо. Владимир Яковлевич отложил молитвенник, мы познакомились. Оказывается, папа часто рассказывал ему обо мне – его беспокоило мое будущее, хотел познакомить нас. Я попросил Владимира Яковлевича придти на похороны и сделать то, что положено евреям. Что положено, я не знал.

На следующий день я пошел к директору театра просить деньги на похороны. Сергей Петрович меня сразу же принял, отложив дела и попросив всех выйти из кабинета. Лицо его покраснело – это говорило о крайнем переживании, он снял очки, ничего не говорил. Я поблагодарил его за то, что он сделал для папы (я знал, что Сергей Петрович очень уважал папу, и всегда при встречах они перекидывались несколькими фразами), попросил выдать мне две тысячи рублей в долг в счет зарплаты, сказав, что у папы осталась сберегательная книжка, но деньги я смогу снять только через полгода. Книжку я держал в руках. Он взял ее, раскрыл, внимательно просмотрел и сказал всего два слова:

– Да, небогато...

(Там было всего три тысячи рублей – все, что папа смог накопить на «черный день»!)

Я буду благодарен Сергею Петровичу Звездину за эти скупые слова до последнего своего вздоха. Они были сказаны так, что смогли вместить в себя всю горечь прожитой жизни, боль утраты...



1971

Хоронили из музыкального училища, где папа проработал со дня его открытия в 1948 году. Петр Козинский, композитор, парторг училища и наш родственник (прекрасный человек из какого-то другого мира) рассказал о жизненном пути, как тогда было положено; студенты, плача, обещали быть похожими на Григория Ильича (папу, действительно, все очень любили); пришли артисты и работники театра... Когда Петр Козинский произнес, что у папы было тяжелое детство, что он воспитывался в детском доме, я не выдержал, буквально убежал в соседний класс – меня трясло.

Потом сказали, чтобы все попрощались и оставили у гроба родственников (почему-то запомнилась муха, которая все время садилась папе на нос, и я подумал о *той* мухе, улетевшей в форточку по папиной просьбе). Подошел Владимир Яковлевич, тихо произнес молитву и что-то положил на подушку рядом с головой (много позже я понял, что это была земля Израиля). Меня тогда удивило, что он не снял головного убора, как все. Когда понесли гроб, я увидел, что вся улица от училища до поликлиники запружена людьми – папу в городе знали очень многие, движение по улице было перекрыто. Играл оркестр петрозаводского гарнизона, в котором проходил службу брат Валера, под руководством майора Корнеева, а впереди, высоко подняв раструб своей трубы, пел прощальную песню папе его старый коллега-музыкант, артист симфонического оркестра Петр Салмио (сам уже смертельно больной).

Был ли папа «соблюдающим» евреем? Нет. Но он, конечно, знал, что это такое. И когда я в свое время увлекался «местечковостью» – начитался Менделе Мойхер-Сфорима, Ицхака Лейбуша Переца, Шолом Алейхема и идеализировал местечко, папа с болью сказал, что не хотел бы вернуться туда. Что на самом деле ничего хорошего в той жизни не было, с ее бесправием, ограниченностью, суевериями. Хотя, как всегда и во всем, все не так однозначно. Он-то хорошо понимал это.

Несколько раз в году он вдруг (это для меня – вдруг) целый день ничего не ел, только пил сырую воду и закусывал черным хлебом с луком (так он соблюдал пост). На мои вопросы отвечал, что просто хочет вспомнить тяжелое детство. Часто мечтал, чтобы у нас была большая семья, которая раз в неделю собиралась бы за праздничным столом. Мама пекла бы халу, зажигала свечи, а он сидел бы во главе стола и читал для всех книгу (что за книгу, он не говорил). На мой вопрос – зачем печь, когда хала продается в магазине (тогда, действительно, продавалась, это потом она стала «плетенкой», как и французская булочка – «городской») ответил, что это не та хала, потом, когда-нибудь, я узнаю это. Потом я действительно узнал, но почему – потом? Мне до сих пор больно, что все «это» я узнал «потом». Хотя папа мне и рассказывал об истории евреев, некоторых традициях, но только

тогда, когда у меня возникали вопросы. Иногда по вечерам, когда мы садились за стол, моя русская мама зажигала свечу и подавала гефилте-фиш – это от нее я научился делать фаршированную рыбу, и наступала какая-то необъяснимо торжественная тишина. Мы, дети, сидели и заворожено смотрели на пламя и на оплывающую свечу. Нам было жалко, что она так быстро тает, и мы оплывший воск налепляли обратно. Папа читал какую-то книгу (может быть, молитвенник?) и с умилением смотрел на нас. Когда я собрался жениться, папа сказал, что Марта хорошая девушка, но не для меня, отказавшись объяснить почему, и на свадьбу не пошел. Но никогда не давал понять, что что-то не так, у нас были прекрасные отношения, и папа был просто счастлив, когда родилась внучка Наташенька. В том же году он неожиданно умер. И так было угодно Вс-вышнему, что именно эта его русская внучка, пройдя в Иерусалиме гиюр, стала еврейкой и родила еще троих евреев (дай Б-г им здоровья, как и всему еврейскому народу)! Рав Адин Штейнзальц очень точно определил евреев, как одну семью со всеми положительными и отрицательными ее качествами. И еще совершенно уникально его определение, кого считать евреем: он сказал, что еврей тот, у кого внуки евреи! Я не могу упрекать папу, что он не очень направлял меня в еврейскую сторону, и даже по паспорту я был русским (хотя и пытался исправить это) – то, что пережило его поколение в России, не могло не наложить отпечаток на всю жизнь. Героем хорошо быть только в «боевиках», и то иностранных, зная, что тебя ждет за это хороший гонорар, а когда у тебя на руках дети, которых ты хочешь вырастить и видеть счастливыми...

Однажды, когда в Петрозаводске открылся Хэсэд (это уже 1998 год!), я принес продовольственный пакет одному не очень еще старому человеку. Он поблагодарил, но когда я сказал, что надо записать его имя для отчета, он вернул мне пакет, и просил больше не беспокоиться. Родился он где-то в глубинке Карелии – очевидно родители были или сосланы, или сами решили быть подальше от «счастливых строителей коммунизма». И этот страх до сих пор не изжит. Многие ли могут спокойно сказать, что они евреи? А почему?

Вспоминаю я и такой случай. Во время работ по восстановлению еврейского кладбища в Петрозаводске я познакомился с ведущим специалистом мэрии по градостроительству, интеллигентным молодым человеком, с которым приятно было поговорить. Мы обсуждали проект, оговаривали детали, размечали границы кладбища, он давал профессиональные советы. И когда надо было окончательный вариант занести в официальные бумаги, он спросил: «А как мы назовем этот объект?» Я удивился и сказал: «Ну, а как? «Старое еврейское кладбище». Он поморщился, долго извинялся, объяснял, что очень хорошо относится к евреям, что среди его друзей много евреев, что его лучшими учителями в ВУЗе были именно евреи, и они хорошие врачи и т.п., но... Но само слово «еврей» для него имеет *отрицательный* смысл, ассоциируется с чем-то нехорошим. Откуда у этого молодого человека, которому евреи, кроме добра, ничего не сделали, такое отношение к самому слову «еврей»? Тут есть над чем задуматься. Значит та атмосфера, в которой он формировался как личность, литература, которую он читал, средства массовой информации, круг общения – все это и утвердило в нем именно такое ощущение.

И, все же, папа сумел воспитать меня именно евреем, и сделал так, как будто я сам выбрал для себя этот путь. И я ему безмерно благодарен за это.

Но что меня гложет постоянно, доставляет душевную боль, и с годами эти ощущения становятся только острее – это то, что я так и не поговорил с папой о самых главных, самых важных вещах, а ему-то было что сказать...

Post scriptum

(«Общинный вестник» № 27, сентябрь 2000 г.)

«Мой отец рано лишился родителей и воспитывался в киевском детском доме в двадцатые годы. Впоследствии он говорил: «Если я стану богатым, то поеду в Киев, разыщу мой Детский дом и поделюсь своим богатством». Не стал папа богатым; и говорил: «Если я

выиграю по облигациям или в лотерее крупную сумму, то половину отдам моему Детскому дому». Не выиграл папа и крупной суммы; и говорил: «Первую свою пенсию я отдам моему Детскому дому». И первой пенсии папа тоже не получил...

Но он воспитал троих сыновей. Они не стали богатыми, не выиграли крупной суммы, но 16 августа 2000 года я, его недостойный сын, получил, таки, свою первую пенсию. Но если я когда-нибудь выиграю крупную сумму, то поеду в Киев, разыщу *тот* Детский дом и отдам половину; а если стану богатым, то поделюсь своим богатством с *тем* Детским домом. А если нет – завещаю это моим детям. А пока, каждый год в *йорцайт* Гирша Цвибеля (Григория Ильича Цвибеля) 1 Тишрей на РОШ ha-ШАНА я буду отдавать свою месячную пенсию в один из Детских домов Карелии в память о моем необыкновенном отце».

Бен Гирш

Post post scriptum

Поле того, как папа потерял из виду своего брата Зяму, он неоднократно пытался разыскать его, но безуспешно. Уже после войны папа снова предпринял попытки, но с тем же результатом. Зная, что Зяма не мог сидеть на месте, был очень активным, решил, что тот или погиб во время войны, или в застенках НКВД. Вариант, что Б-г избавил его от этого, и он естественным образом «приобщился к народу своему», практически равнялся нулю. С этим папа и ушел из жизни.

И вот однажды я получаю по e-mail такое письмо:

29 октября 2002

Здравствуй, незнакомый брат!

Я – Цвибель Элья Соломонович. Год рождения 1935, смерти – неизвестен. Твой отец Григорий и мой отец Зяма – родные братья; мой старше. По документам он 1903 г.р. (со слов – он на 2 года старше). В 20-х годах они потеряли друг друга. Отец был уверен, что его брат Гриша уехал через Дальний Восток к сестрам в США. Он говорил, что Гриша – пианист.

Когда я приехал в США, в 1997 году, я подал объявления в русскоязычные газеты: «Разыскиваются потомки Григория Цвибеля из Бобруйска». Откликнулся один Цвибель из Буффало. Он родом из Чернигова, но мы его, видимо, не заинтересовали. Вообще, нашу фамилию пишут, в основном, по-немецки – Zwiebel. Таких фамилий в Н.-Й. много, но вряд ли наши тети сохранили девичьи фамилии.

Когда я освоил Интернет, я, естественно, стал искать однофамильцев. Их оказалось немало:

-хирург М.Д.Цвибель;

-Членкор. из Питера;

-Пред. евр. ортодокс. общины Петрозаводска Дмитрий Цвибель. Он же – концертмейстер Муз. театра, засл. деятель искусств России и Карелии, и т.д.

Мне сразу стукнуло, что ты (Вы?) Гришин сын. Предчувствие меня не обмануло.

Приятно встретить однофамильца, а двоюродного брата тем более!

До свидания.

Привет семье.

Жду ответа.

Элья.

Мне трудно описать гамму чувств, охвативших меня. Во-первых, папин брат не погиб ни во время войны с немцами, ни во время войны советской власти с собственным народом; во-вторых, они с папой могли бы встретиться (Зяма умер в Днепрпетровске в 1965 году от рака крови); в-третьих, я обрел родственников, и еще одна еврейская семья сохранена Вс-вышним, да будет Имя Его благословенно!

Я написал ответ, послал фото, рассказал о папе, его жизненном пути. Получил ответ:

30 октября 2002 г

Здравствуй, Дима и М.Д. (пока не знаю имени)!

Был очень рад получить от Вас письмо и отвечаю сразу.

Я получил фото твоего отца. Сегодня вы получите фото моего. Хоть они и сняты в разный возрастной период, есть много сходства.

Об отце (то, что он рассказывал, и я запомнил). По документам он 1903 г.р. (со слов – он на 2 года старше). В 16 лет он ушел из дома и стал путешественником. Он бывал на Севере, работал на Сахалине. В 20-х годах служил в Красной Армии, в Бухаре. Бухарские евреи его приняли хорошо, т.к. он хорошо писал, читал и говорил аф идиш. Видимо, семья у них была не последней в Бобруйске. В 1931 или в 1932 году он приехал в Днепропетровск и женился на моей будущей маме. В 1933 году у них родилась девочка – прямо ангелочек. Но в возрасте 8 мес. умерла от заворота кишок (не доглядели). В 1935 г. родился я; в 1937 – мой брат Александр (Шая). Он уже 2 года живет в Нью-Йорке, в Бронксе, рядом со мной.

Отец имел неплохой голос, знал много песен, в том числе еврейских. Каким-то образом он поддерживал связь с родными, раз знал, что Гриша-пианист.

Он рассказал мне о Белопольской трагедии (Трипольской, прим. Д.Г.), где погибла его младшая сестра-комсомолка. Мы потом отыскивали брошюру об этой трагедии, где она была упомянута.

О себе в след. письме.

До свидания.

Привет всем родственникам от меня и моей семьи.

Эля.

На этом можно поставить точку. Ведь невозможно пересказать жизнь. Для этого не хватит ни бумаги, ни чернил, да и все равно получится не жизнь, а лишь слабое ее отражение. У каждого в жизни есть моменты, понятные только ему самому, и рассказанные, они теряют смысл. Наверное, именно поэтому людям так трудно понять друг друга, и человек так и остается одиноким, окруженный множеством себе подобных, со своими, только ему понятными, тревогами и маленькими радостями. Я хорошо помню папу за пианино в балетном зале: шла какая-то массовая репетиция, шум, гам, в воздухе канифольная пыль, все в движении. А папа сидит и играет, глядя куда-то поверх нот, и на его лице тихая светлая улыбка...



Зяма



1971

Февраль, 2007